

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Б. В. Дубин

**СЕМАНТИКА, РИТОРИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
«ПРОШЛОГО»:
к социологии советского и постсоветского
исторического романа**

Препринт WP6/2003/02
Серия WP6
Гуманитарные исследования

Москва
ГУ-ВШЭ
2003

УДК 82-31:316.7

ББК 84-44

Д 79

Редактор серии WP6
“Гуманитарные исследования”

И.М. Савельева

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта “Репрезентация прошлого как социоинтегративный фактор” (грант 03-01-00170а)

ДУБИН Борис Владимирович — ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований ВЦИОМ. Преподаватель социологии культуры в Институте европейских культур при РГГУ.

Автор книг и многочисленных статей по социологии советского и постсоветского общества, его институтов; межпоколенческих отношений; электорального поведения; роли интеллигенции в обществе; религии, культуры и массовых коммуникаций, литературы и искусства, ряд которых переведен на английский, французский, немецкий, итальянский и польский языки. Переводчик европейской и латиноамериканской литературы, философской и культурологической эссеистики. Автор ряда статей о творчестве современных зарубежных писателей, философов, социологов. Лауреат премий журналов “Знамя”, “Иностранная литература”, “Знание — сила”, Министерства культуры Венгрии, А. Леруа-Болье (Франция — Россия), М. Ваксмахера (Франция — Россия).

© Б.В. Дубин, 2003

© Оформление. ГУ ВШЭ, 2003

За 1990-е гг. исторические романы русских (российских) авторов, написанные на отечественном материале, заняли одно из самых видных мест на книжных прилавках магазинов, в киосках и на лотках больших городов России, в кругу массового чтения россиян. Определенная часть данного литературного массива сложилась из дореволюционной исторической романистики и эмигрантской словесности прошлых лет, переизданной, а чаще — впервые изданной в СССР за период “гласности” и позже (кроме не раз издававшихся в советское время М. Загоскина, И. Лажечникова, Г. Данилевского, это дореволюционные романы Даниила Мордовцева, Николая Гейнце, эмигрантская проза Марка Алданова, Петра Краснова, Ивана Лукаша и др., — они, как и исторические сочинения на русскую тему зарубежных авторов вроде Г. Самарова, Т. Мундта или К. Валишевского, здесь рассматриваться не будут). Другую часть образовали достаточно постоянные в тот же период переиздания уже собственно советской исторической прозы 1920—1970-х гг., о которых будет речь ниже. Но преобладающую часть этой книжной Атлантиды, которая на глазах прежних читателей поднялась из небытия за последнее десятилетие и предстает сейчас читателю-прохожему, “человеку с улицы”, на любом городском углу, составляют *новые* исторические сочинения *сегодняшних* авторов. Именно они, причем лишь одной идейно-тематической разновидности — державно-патриотической — составляют главный предмет настоящей работы.

В 1990-х гг. серия “Тайны истории в романах” открылась в одном из наиболее мощных частных издательств России “Терра”. Библиотечки “Россия. История в романах”, “Государи Руси Великой”, “Романовы. Династия в романах”, “Сподвижники и фавориты”, “История отечества в событиях и судьбах”, “Вера”, “Вожди”, “Великие”, “Россия. Исторические расследования”, “Душа России” и множество им подобных начали печататься, опять-таки, в столичных частных издательствах “Армада”, “Лексика”, “Центрполиграф”, “Астрель”, “Русский мир” и многих других. В результате исторические романы российских авторов

вышли на одно из первых мест по популярности у широкого читателя. Согласно данным репрезентативного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2000 г., 29% опрошенных взрослых россиян обычно предпочитают читать и чаще книг других жанров читают “детективы”, 24% — “любовные романы” и столько же — “исторические романы, книги по истории”. При этом доли почитателей детективов и любовных романов в сравнении с 1997 г., когда наблюдался самый высокий взлет читательского интереса к этим жанрам, на нынешний день несколько сократились (с 32 до 29% и с 27 до 24% соответственно), тогда как средний показатель значимости исторической прозы для массового читателя остается стабильным¹. Среди городского населения те, кто, по их словам, предпочитают читать современные отечественные романы об истории России, составляют на конец 2002 г. самую большую в количественном отношении группу — 30,5% от 1998 опрошенных респондентов; чаще это россияне более старших возрастных групп (40—54 лет) с высшим образованием, живущие не в столице.

Похожие всплески писательского и читательского интереса к фикциональному представлению истории по правилам романного повествования в отечественной культуре уже бывали, хотя их масштаб и характер были совершенно иными. Скажем, русская словесность переживала бурный взлет исторического романа в 1820—1930-х и 1860—1970-х гг. на ключевых точках формирования национальной литературы как важнейшей части культурного достояния страны (условно говоря, в “пушкинский” и “толстовский” период литературного развития²). Если говорить в более общем социологическом плане, то в подобных обстоятельствах, в период запоздалой, но именно поэтому ускоренной модернизации общества, соответствующей радикальной перестройки его смысловых ориентиров ведущие группы общества или группы,

¹ См.: Левина М. Читатели массовой литературы в 1994—2000 гг. — от патернализма к индивидуализму? // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2001. № 4. С. 30—31.

² Как указывает Дамиано Ребеккини, в 1830-х гг. исторические романы составили по названиям больше половины всей отечественной романной продукции этого периода. См.: Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х годов XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 419.

претендующие в нем на лидерскую роль, нередко переносят свои представления о лучшем и истинном, об идеальном обществе и полноте культуры, о себе и своей миссии — в условно конструируемое “прошлое”, равно как другие — в столь же условное “будущее”. Карл Мангейм называл конструкции первого типа идеологическими, а второго — утопическими. Конкурентная “борьба за историю”, за свою легенду о ней — обязательный аспект такого рода процессов, когда силами, прежде всего, общества публичных интеллектуалов выстраивается новый, общий для данного социума символический порядок, выдвигаются символы коллективной идентичности нации, закладываются основания такой идентификационной конструкции, как “национальный характер”. Жизненная важность подобных проблем для наиболее квалифицированных и активных групп общества такова, что, например, при разработке формул исторического поведения в оба из указанных периодов в России XIX в. тон задавали крупные литературные фигуры эпохи.

Однако меня прежде всего интересуют сейчас проблемы и процессы нынешнего российского общества, сегодняшней культуры, — материалом работы выступает преимущественно историко-патриотическая романная продукция последнего времени³. Вместе с тем эта словесность как феномен *эпигонства*⁴ в своих идейных, образных, стилевых характеристиках подытоживает основные проблемные и тематические линии советской исторической прозы 1920—1930-х и 1970-х гг. Больше того, сегодняшний историко-патриотический роман как явление идеологически-реставраторское принципиально связан с советской эпохой и не понятен вне ее. Поэтому для более объемного уяснения и его самого, и более широкого процесса идейной реставрации в со-

³ В дальнейшем будет цитироваться в основном продукция издательства “Армада”, серия “Россия. История в романах”. Тиражи анализируемых изданий соответствуют средним тиражам художественной литературы 1990-х гг. — от 10 до 20 тыс. Упоминаемый среди них роман Э. Зорина вышел в издательстве “Лексика” тиражом 50 тыс. экземпляров.

⁴ Об этом важном культурном феномене см.: Asbeck H. Das Problem der literarischen Abhängigkeit und der Begriff des Epigonalen. Bonn, 1978; Дубин Б. Слово — письмо — литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 267—270.

временной общественной жизни России, в российской культуре необходим хотя бы короткий экскурс в прошлое, в том числе — прошлое исторического романа⁵.

I

Исторический роман в различных национальных литературах мира — это роман о Новом времени: о процессах социальной и культурной модернизации Запада, причем именно и прежде всего Европы. Характерно, что в наиболее полный из доступных мне аннотированных указателей избранной исторической романистики оказалось включено: романов об античной эпохе — 337, о средних веках и периоде Возрождения — 540, о Западе Нового времени после 1500 г. — 4015 (из них о Европе — 2052, о США — 1579)⁶. Исторический роман в условной, фикциональной, нередко даже притчевой форме представляет конфликты перехода от родового, статусно-иерархического, феодального общества с его традиционными формами отношений (прежде всего отношений господства и авторитета), от жестко предписанных сословных, клановых, межпоколенческих, половых и семейных связей к “современному” (“модерному”), буржуазному миропорядку. А это значит — к индивидуалистическому этосу личного самоопределения, конкурентным стратегиям самореализации, установке на персональные достижения, их накопление и учет, более того — постоянное повышение ориентиров и критериев успеха, к разным видам общественного договора и представительным формам выборной власти.

⁵ Представления россиян о прошлом, их динамика на протяжении 1990-х гг. прослеживались автором на данных эмпирических опросов ВЦИОМ в статьях: Национализированная память (О социальной травматике массового исторического сознания) // Человек, 1991. № 5. С. 5—13; Прошлое в сегодняшних оценках россиян // Мониторинг общественного мнения. 1996. № 5. С. 28—34; Конец века // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4. С. 13—18. См. также: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 167—197, 283—284, 293; Левинсон А. Массовые представления об “исторических личностях” // Одиссей, 1996. С. 252—267.

⁶ Рассчитано автором по изданию: McGarry D.D., White S.H. Historical Fiction Guide. N.Y., 1963.

В отличие от иных прежних (летописно-хроникальных, назидательно-аллегорических) форм представления прошлого, исторический роман, жанр и сам по себе новый, не кодифицированный и не удостоверенный эстетическим каноном, возникает в рамках идейного, идеологического противопоставления “истории” и “традиции” как разных типов регуляции жизни людей и сообществ — феномена тоже сравнительно позднего и основополагающего для модерной эпохи. Наделяясь значением истории, те или иные элементы прежних традиций теряют жесткую однозначность безальтернативного образца и выступают в модусе “обычаев” или “нравов” прошлого, которые надлежит отвергнуть и преодолеть либо, напротив, переосмыслить и сохранить. В любом случае, они отчленяются от предписанной связи с высоким социальным статусом или мифологическим рангом, универсализируются до героических символов, моральных примеров, назидательных аллегорий, а в конечном счете выступают в обобщенных значениях правильного и достойного. В историческом романе для публики, конечно же, важно то, что он по материалу, обстановке, коллизиям, персонажам *исторический*. Но не менее существенно, что перед читателем — *роман*, т.е. современный (понимай: поздне- и постромантический) повествовательный жанр с его современными представлениями о герое, человеческих отношениях, проблемах и обстоятельствах, с его современным взглядом на жизнь и современными же средствами ее жизнеподобного словесного представления. Иными словами, история здесь, строго говоря, не противопоставляется современности (“модерности”), а выступает одним из смысловых планов в проблематичной, многомерной и многоуровневой конструкции этой последней — планом наиболее значимых ценностей и предельных санкций поведения индивида, группы.

Смысловой, модальный барьер между настоящим и прошлым фиксируется при этом уже собственно романскими — сюжетными, стилистическими — средствами. Он разворачивается как динамическая и неустранимая, более того — постоянно поддерживаемая, проблематизируемая и воспроизводимая в повествовании дистанция между вымышленным “маленьким” персонажем и высокими “подлинными” историческими героями, между обобщенным, универсальным и частным, локальным значением

героев, эпизодов и ситуаций⁷. Эту дистанцию можно обнаружить в средствах обрисовки тех и других действующих лиц (мера “реалистичности” их изображения, “психологичности”, обращения к “внутренней” мотивации и пр.), в их прямой речи (степень ее условности, стилевой окрашенности и т.п.). Допустимо сказать и по-иному: описываемая проблематичная дистанция, барьер или конфликт между разными уровнями, пластами значений актуального времени разворачиваются и представляются в форме со- и противопоставления истории как нормативной фактивности и самодостаточности однократно случившегося, с одной стороны, и истории как условности, точнее — набора различных условностей повествования (а значит, его обратимости, соотносительности и пр.), с другой⁸.

Значения “прошлого” могут быть словесно представлены по-разному, в разной повествовательной или драматической (жанровой) форме; различным будет и их значение (функция). Вовсе не каждое из подобных представлений наделяется в новейшее время (ограничиваюсь здесь только им) статусом “истории”, “исторического”. Так, античные, библейские или средневековые отсылки в галантном романе либо в классицистской трагедии указывают на предельно высокий ценностный статус действующих лиц, которые и могут быть героями лишь потому, что по предписанной жанровой традиции принадлежат к эпохе мифического “начала”, к экстраординарным временам богов, титанов, тиранических правителей. Индивидуальной проблемы соединения героического и повседневного в собственном поведении персонажа, как и в средствах повествования о нем, здесь просто нет: ценностный конфликт, скажем, чувства и долга может мучить царицу, но не ее служанку.

⁷ О проблеме соединения фактов с вымыслом, местного колорита с универсальными характерами у В. Скотта и во французском историческом романе вальтер-скоттовского типа см.: Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. С. 78—87.

⁸ Можно выделить еще более “рабочий” план анализа двух данных уровней исторического повествования в форме “реалистического” (“психологического”) романа, прослеживая соотношение между описанием от третьего лица или от условного повествователя, с одной стороны, и прямой речью (“драматическими сценами”), с другой; между слоем “основного действия” персонажей и авторскими “историческими” (фактографическими) примечаниями к нему.

В центре же собственно исторического романа — в чем и состоит его культурная значимость как универсальной формы обобщения и представления человеческого опыта — человеческая “цена” крупномасштабного перехода от традиции к истории для людей власти, высшей аристократии, военной и церковной элит (по преимуществу — представителей традиционной элиты), с одной стороны, и для “нового” героя, обедневшего дворянина, представителя третьего сословия, “маленького человека”, часто — женщины или юноши, которые первыми в роду, в своей семье получают собственную индивидуальную биографию, сами “делают” ее и оказываются при этом в средоточии сословных, династических, конфессиональных, межгосударственных конфликтов и авантюры эпохи, — с другой. В этом смысле обычный человек “как все” (обязательный персонаж исторического романа, будь то как один из основных героев или как точка зрения, ценностный масштаб), вступая, вписываясь в общую историю, создает историю собственную — создает себя как историческую личность. На пересечении силовых линий “история и традиция”, “история и современность”, “история/традиция и утопия” в сфере воздействия идей и принципов романтизма складывается смысловое поле культуры как антропологической программы формирования активного, самостоятельного и зрелого индивида среди подобных ему полноценных социальных существ.

Исторический роман, как и социально-критический роман вообще, — феномен буржуазного общества и модерной эпохи (каждый кризис, или “конец”, романа, включая исторический роман, — симптом кризиса идеи современности и программы культуры, всякий раз нового уровня их проблематичности и проблематизации). Складываясь в рамках и на исходе романтической эпохи, он вбирает и перерабатывает элементы рыцарского, плутовского, галантно-авантюрного и галантно-эротического, назидательно-аллегорического романа, романа воспитания и других предшествующих повествовательных формул. Важный и популярный у читателей вариант более позднего, хотя и питающегося романтической идеологией массового исторического романа — это *biographie romancée* (“художественная биография”) политического лидера, гения литературы и искусства, а еще позднее — “людей успеха” вообще, независимо от характера и фак-

торов такового (среди широко признанных как литературной критикой, так и читателями мастеров подобного жанра — Андре Моруа, Стефан Цвейг, Эмиль Людвиг).

Стратегические различия в трактовке подобных тектонических процессов представителями разных общественных групп, которые вступают в эти процессы раньше или позже, а потому оказываются в различных социальных ситуациях и исторических обстоятельствах, ориентируются на разных потенциальных партнеров и “адресатов”, — дают начиная с произведений М. Эджуорт (1800), В. Скотта (1814 и далее), А. Мандзони (1821—1823), Д.Ф. Купера (1821 и далее), А. де Виньи (1826), О. де Бальзака (1826), П. Мериме (1829), В. Гюго (1831) практически все многообразие национальных разновидностей исторического романа в странах Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки⁹. Так, явные “пики” в количественном производстве исторических романов и в широком интересе читателей к ним приходится в новейшее время на эпохи общественного подъема, начальные, наиболее социально динамичные периоды строительства надсословного, уже собственно буржуазного, национального государства¹⁰. Именно тогда в исторический роман приходят лучшие литературные силы эпохи, и жанр становится домини-

⁹ Из обзорных работ по основным регионам укажу лишь несколько: Nélod G. *Panorama du roman historique*. Bruxelles, 1969; Fleishman A. *The English historical novel*. Baltimore; L., 1971; Dickinson A.T. *The American historical fiction*. Metuchen, 1971; Menton S. *Latin America's new historical novel*. Austin, 1993; Elmore P. *La fabrica de la memoria. La crisis de la representacion en la novela historica hispanoamericana*. Mexico, 1997; Muelberger G., Habitzel K. *The German historical novel (1780—1945) // Reisende durch Zeit und Raum (Travellers in Time and Space). Der deutschsprachige historische Roman*. Amsterdam, 1999. Первые из известных мне русских исторических романов принадлежат Ивану Гурьянову (“Битва Задонская, или Поражение Мамай на полях Куликовских”, 1825) и Ивану Телпневу (роман о запорожских казаках “Госницкий”, 1827). Указатель ранней русской исторической прозы см.: Ребеккини Д. Указ соч. С. 416—433.

¹⁰ Испанский социолог культуры Хуан Феррерас прямо связывает возникновение героико-романтической и авантюрно-приключенческой разновидности исторического романа в Испании с краткой победой либеральных сил в социально-политической жизни страны (см.: Ferreras J.I. *El triunfo del liberalismo y de la novela historica, 1830—1870*. Madrid, 1976). С национально-освободительным, антиимперским движением связан польский исторический роман 1880—1900-х гг. (Б. Прус, Г. Сенкевич, С. Жеромский), хорошо известный и в России, и в Советском Союзе, в последнем случае — еще и по многочисленным киноэкранизациям 1960—1970-х гг.

нантным для художественной словесности той или иной страны, приобретает высокие литературные амбиции, наделяется культурной авторитетностью¹¹.

Другая композиция социально-исторических обстоятельств и факторов — здесь речь идет, напротив, о периодах социальных кризисов, крупномасштабных испытаний для обществ либерально-буржуазного типа, для порожденного ими человеческого склада — вызывает к жизни и другие жанровые разновидности исторического романа (социально-критический роман с элементами сатиры, аллегии, притчи — такой, например, была ситуация в Германии 1930—1940-х гг., давшая, в противоборстве с историческим романом “почвы и крови”, исторические романы Леона Фейхтвангера, Генриха и Томаса Маннов¹²). Наконец, на рубеже XIX—XX вв., в период расцвета декадентского и символистского исторического романа, ключевой проблемой, ведущим мотивом выступает собственно *культурный* слом времен, а материалом аллегорического повествования о поздней античности или средних веках становится гибель всего символического космоса, “конец веры”, пришествие эпохи ересей и смут (пионерным образцом, своего рода прообразом жанра здесь является, видимо, христианская эпопея Шатобриана “Мученики”, 1809)¹³.

В России XVIII—XIX вв. инициатива политической и социальной модернизации принадлежит, по известной формулировке А.С. Пушкина, “правительству”, а группировки элиты (в частности, интеллектуальные слои с их просветительской журналистикой) складываются в процессах конкуренции за право истолковывать модернизационные представления верховной

¹¹ Характерно, что для Германии в качестве периода расцвета исторического романа специалисты указывают 1850—1870 гг. (см.: Muelberger G., Habitzel K. Op. cit.) В этот же период в общенациональном масштабе формируется и идеология немецкой литературной классики, см.: Die Klassik Legende / Hrsg. R. von Grimm, J. Hermand. Frankfurt a. M., 1971; Begriffsbestimmung der Klassik und des Klassisches / Hrsg. Н.О. von Burger. Darmstadt, 1972; Проблемы социологии литературы за рубежом. М., 1983. С. 55—57.

¹² См. о них: Schroetter K. Der historische Roman: Zur Kritik seiner spaetbuergerlichen Erscheinung // Exil und innere Emigration. Frankfurt a. M., 1972. S. 111—151.

¹³ Для России это романы Д. Мережковского, В. Брюсова, В. Крыжановской (Рочестер).

власти. Характерно, что 30-е гг. XIX в., эпоха утверждения исторической романистики в России (романы М. Загоскина, И. Глухарева, И. Лажечникова, А. Москвичина, К. Масальского, Р. Зотова, Н. Зряхова), отмечены острой идеологической и литературной борьбой между аристократической жанровой формулой исторического романа и драмы, которую разрабатывает Пушкин, и подходами идеологов третьего сословия — в первую очередь, развлекательно-нравоучительными романами Ф. Булгарина¹⁴. На это противостояние накладывается оппозиция идейной независимости дворянства (сдержанная аристократическая критика власти, направленности и половинчатости инициированных ею социально-политических реформ), с одной стороны, и соглашательства с властью (официальное народничество), с другой, которая, в свою очередь осложняется позднее оппозицией западников и славянофилов. Но и та, и другая сторона при этом едины в своем неприятии решительных общественных перемен и радикальных путей к преобразованию страны. Для славянофилов этот неприемлемый, губительный для страны вариант воплощают западники, для западников же — “нигилисты”, революционеры-народовольцы. В этом смысле русский исторический роман XIX в. содержит в себе как умеренно либеральное, так и жестко консервативное отталкивание от самой идеи кардинальных крупномасштабных реформ, тем более — от мысли о социальной революции. Показательно, что до 1917 г. русские литераторы, близкие к революционному народничеству, а впоследствии к марксизму, не раз обращались (как, например, Александр Богданов) к *утопической* романистике, но практически никогда не работали в жанре *исторического* романа.

Напротив, именно ситуация и герои революционных переломов в истории России (такие, как Разин, Пугачев, декабристы, народовольцы) образуют проблемный центр советского исторического романа 1920-х, а во многом — 1930-х гг. и отчасти всех последующих десятилетий. Точнее сказать, такова одна из идейных линий советской исторической романистики — линия, условно говоря, “либерально-демократическая”, “прогрессистская”.

¹⁴ См.: Переверзев В.Ф. Пушкин в борьбе с русским плутовским романом // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 164—188.

II

Исторический роман, шире, историческая проза (новелла, повесть) — как, одновременно, жанр литературной утопии (политическая, экзотическая, детективная, техническая и другая фантастика) — возникают в советской России уже на самом начальном этапе формирования “новой” литературы, подводящей символические итоги революционного переворота и гражданской войны. Вскоре появляются и первые обобщающие работы об этом литературном феномене¹⁵. Характерно, что все это происходит на той идеологической фазе, когда властью провозглашается демонстративный идеологический “разрыв с прошлым”. Фактически подобный прокламируемый “разрыв” означает одно: заявку победившей власти и ее приверженцев на монопольное владение истолкованием социальной жизни — как дореволюционной истории, так и пореволюционного настоящего. В дальнейшем конструирование всей области “исторического” — группировка событийного материала, истолкование мотивов поведения исторических лиц — едва ли не целиком определяется характером власти в тот или иной период советской эпохи. Смену близких к власти групп и клик можно проследить на соответствующих сдвигах и переакцентировках официальной риторики в той части, которая касается “прошлого”.

На начальном этапе прошлое понимается исключительно в качестве проекции произошедшего революционного переворота, что и предопределяет отбор ключевых точек, исторических героев. Соответственно в истории актуализируются именно те фигуры, которые, во-первых, подвергают это прошлое (“царизм”) жесточайшей критике и даже радикальному отрицанию, а во-вторых, трактуются как “близкие к народу”, к “пролетариату” (на этих основаниях, в частности, формируются первые

¹⁵ Статья О. Немеровской “К проблеме современного исторического романа” публикуется уже в 1927 г. (октябрьский номер журнала “Звезда”), в том же году выходит монография И. Нусинова “Проблема исторического романа”. Подробнее см.: Изотов И.Т. Из истории критики советского исторического романа (20—30-е гг.). Оренбург, 1967. Об утопическом жанре в том же политическом и культурном контексте см. аналитический обзор, подготовленный автором вместе с А.И. Рейтблатом: Социальное воображение в советской научной фантастике 20-х годов // Социокультурные утопии XX века. Вып. 6. М., 1988. С. 14—48.

позитивные представления о классиках отечественной литературы и искусства, систематизированные уже позднее, в 1930-е гг.). Вокруг этого комплекса идей завязываются два из основных тематических направлений в разработке историко-беллетристического жанра¹⁶.

Во-первых, это роман об идеях гражданских свобод, об интеллектуальных предшественниках русской революции 1917 г.: таков роман Ольги Форш “Одеты камнем” (1924—1925); “Кюхля” Юрия Тынянова (1925); “Северное сияние” Марии Марич (1926)¹⁷; вариант данной сюжетной формулы — романизованная биография героя “из народа” (Ломоносов, Тарас Шевченко, художник Павел Федотов и др.) — использует сюжетные и стилистические шаблоны “романа социального восхождения”. Второе направление — роман о народном бунте: “Разин Степан” Алексея Чапыгина, (1925—1926), позднее — его же “Гулящие люди” (1934—1937); “Стенькина вольница” (1925) и “Бунтари” (1926) Алексея Алтаева; “Салават Юлаев” Степана Злобина (1929) или “Гуляй, Волга” Артема Веселого (1932). В дальнейшем и сами фигуры подобных героев и особенно их трактовка в советской литературе во многом задаются представлениями В.И. Ленина о трех этапах освободительного движения в России. В 1930-е гг. первую тематическую линию — роман о предшественниках русских революций XX в. — продолжит Анатолий Виноградов в “Повести о братьях Тургеневых” (1932), Форш в “Радищеве” (1935—1939), Тынянов в “Пушкине” (1935—1943), Иван Новиков в “Пушкине в изгнании” (1936—1943). Вторую — роман о народном восстании — будет развивать Г. Шторм в “Повести о Болотникове” (1930), В. Шишков в “Емельяне Пугачеве” (1938—1945), а еще позднее — С. Злобин в “Степане Разине” (1951).

¹⁶ Кроме уже указанной книги И. Изотова, см. литературоведческие работы о советском историческом романе советского же периода: Александрова Л.П. Советский исторический роман и вопросы историзма. Киев, 1971; Нестеров М.Н. Язык русского советского исторического романа. Киев, 1978; Петров С.М. Русский советский исторический роман. М., 1980.

¹⁷ С середины 1920-х гг. начинает публиковаться историческая проза о первой русской революции — романы В. Залежского “На путях к революции” (1925), И. Евдокимова “Колокола” (1926), Е. Замысловской “Первый грозный вал” (1926), равно как и романы о предшественниках русских революций на Западе — “1848 год” и “1871 год” той же Е. Замысловской (оба — 1924).

Но уже в конце 1920-х гг. начинается еще одна, третья и крайне важная для исследуемой мною темы линия советской исторической прозы — роман об императоре, его империи и его народе. Таковы “Петр Первый” А.Н. Толстого (1929—1945; в 1934 г. на сцену страны вышла одноименная пьеса автора, а в 1937—1938 гг. — двухсерийный фильм В. Петрова по сценарию А.Н. Толстого, в котором имперские мотивы еще усилены; первая серия фильма получила приз Парижской международной выставки 1937 г.), “Екатерина” Анатолия Мариенгофа (1936) и др.¹⁸ Если две первые линии можно назвать соответственно революционно-интеллигентской (вариант классического русского романа о “лишнем человеке”) и народно-бунтарской (вариант “разбойничьего романа”), то третью — государственно-державной. Наконец, еще одну линию, военно-патриотическую, начинают в 1930-е гг. романы Алексея Новикова-Прибоя “Цусима” (1932—1935), Виссариона Саянова “Олегов щит” (1934), Сергея Сергеева-Ценского “Севастопольская страда” (1937—1939), Василия Яна “Чингис-хан” (1939). Напомню, что военно-патриотическая тема — в частности, в связи с мобилизационно-милитаристской идеологией и массовой практикой подготовки страны, а особенно молодежи, к предстоящей большой войне — развивается в данный период и в жанре советской исторической поэмы, в исторической пьесе (Сельвинский, Симонов, Вл.А. Соловьев)¹⁹. Больше того, государственно-державную и военно-патриотическую линии исторической прозы в эти годы подхватывает кино (“Алек-

¹⁸ Антитезой такого рода “придворной” романистике могли бы стать социально-критический роман-сатира или аллегорическая притча о диктаторе, много примеров которых дает западно- и восточноевропейская литература первой половины XX в. (Д. Костолани и др.), а позже — литературы стран Латинской Америки (А. Роа Бастос, М. Варгас Льюса). В советской России роман подобного, просвещенческого в своей основе типа почти не получил развития; к редчайшим исключениям уже на позднем этапе принадлежат книги Мориса Симашко о восточных деспотиях — “Хроника царя Кавада” (1968), “Маздак” (1971).

¹⁹ Совещание авторов, пишущих на оборонную тему, проводится в Москве уже в феврале 1937 г. Но и до этого, кроме уже упомянутых, выходят книги военно-исторической тематики Г. Бутковского “Порт-Артур” (1935), А. Дмитриева “Адмирал Макаров” (1935), К. Левина “Русские солдаты” (1935), К. Осипова “Суворов в Европе” (1938) и др.

сандр Невский” и “Иван Грозный” Эйзенштейна, многочисленные фильмы-биографии), театр (драматическая диалогия А.Н. Толстого об Иване Грозном), живопись²⁰.

Так обрисовывается самая общая социально-идеологическая рамка исторической романистики 1930-х гг. и последующих военных лет. В ней перед широким читателем предстает процесс создания мощной российской военной державы в его поворотных пунктах: на этапах “собирания” и укрепления имперского целого России, в жестоких испытаниях, прежде всего военных, и в главных действующих лицах — фигурах царей, полководцев и героев из народа. Именно во второй половине 1930-х гг. общая трактовка российской истории, всего хода модернизации страны (модернизации поздней, принудительной, централизованной и военно-экспансионистской, заданной сверху идеями царей-“реформаторов” и проектами отдельных фракций правящей бюрократии) принимает — после периода пореволюционной эйфории, утопической и интернационалистской по духу — новый поворот. Теперь в “легенде власти” на первый план выходят проблемы построения мощного национального государства, централизованной милитаризованной державы, темы “наследия”, культурного синтеза, классики и пр. Это заставляет акцентировать в актуальной риторике мотивы, героев, эпизоды уже имперского и прединперского периодов русской истории. Именно тогда и в данном контексте на историческую авансцену выдвигаются фигуры Ивана Грозного и Петра Первого.

К ним в середине 1930-х гг. обращается советское руководство, его пропагандистский аппарат и примыкающая к нему либо так или иначе на него ориентирующаяся советская историческая наука, авторы программ и учебников по истории для средней и высшей школы (в 1933 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление о “стабильных” школьных учебниках, в мае 1934 г. — постанов-

²⁰ См. об этом: Clark K. The soviet novel: History as ritual. Chicago; L., 1985 (рус. пер.: Кларк К. Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург, 2002); Stites R. Russian popular culture: Entertainment and society since 1900. Cambridge, 1994. P. 64—97; Агитация за счастье: Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф; Бремен, 1994; Соцреалистический канон. СПб., 2000.

ление “О преподавании гражданской истории в школах СССР”)²¹. Сталинская конституция подводит черту под ближайшим прошлым, объявляя о том, что процесс строительства новой общественной системы в стране завершен.

Соответственно подвергаются идеологическому отбору, препарированию, обработке представления о предшествующем периоде — октябрьской революции и ближайшей пореволюционной эпохе: в июле 1931 г. выходит постановление ЦК о создании “Истории гражданской войны”, разработанное по инициативе М. Горького²². С 1932 г. начинает издаваться биографическая книжная серия “Жизнь замечательных людей”, опять-таки инициированная Горьким. В журнале “Октябрь” тогда же проходит дискуссия на тему “Социалистический реализм и исторический роман”. Выходит монография М. Серебрянского “Советский исторический роман” (1936), над книгой об историческом романе активно работает Д. Лукач²³. В 1936 г. создается Институт истории АН СССР. Вместе с тем формируется корпус отечественной литературной классики, история русской литературы начинает по стандартной программе преподаваться в школах. В 1938 г. появляется документ, программный для всего этого процесса нового конструирования прошлого, — сталинский “Краткий курс”, а в

²¹ К этому следует добавить письмо Сталина по поводу статьи Ф. Энгельса “Внешняя политика русского царизма” (июль 1934 г., распространялось в партийной верхушке, опубликовано в 1941 г.). Сталинский взгляд середины 1930-х гг. на историю, в том числе отечественную, вскоре стал предметом самого массового распространения: включивший его высказывания и партийно-государственные постановления сборник “К изучению истории” вышел в 1937 г. тиражом в 125 тыс. экземпляров; см. об этом: Бордюгов Г., Бухараев В. Национальная историческая мысль в условиях советского времени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999. С. 29—36.

²² Первые романы об исторических деятелях октябрьской революции и гражданской войны появляются уже во второй половине 1930-х гг., в эпоху, назвавшую себя “сталинской”: “Билет по истории” М. Шагинян (о Ленине, 1938) и др. Посвященные фигуре самого Сталина “Хлеб” А.Н. Толстого и “Батум” М. Булгакова относятся к тому же периоду. О Сталине как герое литературы см.: Marsh R.J. Images of dictatorship: Portraits of Stalin in literature. L.; N.Y., 1989; Idem. Literary representations of Stalin and Stalinism as demonic // Russian Literature and its demons / P. Davidson (ed.). N. Y.; Oxford, 2000. P. 473—511.

²³ На русском языке фрагменты опубликованы в журнале “Литературный критик” (1937. № 7, 9, 12; 1938. №3, 7, 8, 12). Нем. изд.: Lukacz G. Der historische Roman. Berlin, 1955 (англ. пер.: Lukacs G. The Historical Novel. Boston, 1963).

ноябре того же года — постановление ЦК “О постановке партийной пропаганды”, резко осуждающее трактовку истории как “политики, опрокинутой в прошлое”. Тем самым сталинская власть однозначно дает понять, что борьба за смысловое истолкование прошедшего завершена.

III

Расстановка социальных сил в правящих верхах, в прилегающих к ним социальных слоях репродуктивной бюрократии (“советских служащих”), наконец, в ориентирующихся на обе эти инстанции группах более образованных и квалифицированных горожан — слое “победителей” задает смысловой рисунок основных идейных конфликтов, структуру характеров и “портретные” черты героев исторической романистики 1930—1940-х гг., точно так же, как и актуальной прозы тех лет о революции и пореволюционной эпохе. Важно еще раз подчеркнуть, что тогдашний исторический роман, как и научно-фантастическая, утопическая и антиутопическая проза, писались, прочитывались, истолковывались в литературном контексте современной, “новой” словесности, а в работу над произведениями этих жанров были включены перворазрядные писательские силы эпохи²⁴. Принципиальную ценностную композицию литературной “формулы” исторического романа в зрелый период советского общества образуют фигуры и значения “власти” — “народа” — “интеллигенции” — “Запада” и(или) его “черной тени” — Востока²⁵.

²⁴ Если говорить об исторической прозе, то к перечисленным Ю. Тынянову и М. Булгакову, А. Веселому и А.Н. Толстому нужно добавить А. Платонова с его повестью о временах Петра I “Епифанские шляпы” (1927). О крупных писателях, писавших тогда утопико-фантастическую прозу, помимо тех же Булгакова, Платонова и А.Н. Толстого, см. в указанном выше обзоре Б. Дубина и А. Рейтблата.

²⁵ В советскую эпоху ближневосточное направление российской геополитики так или иначе отражается в тыняновской “Смерти Вазир-Мухтара”, “татаро-монгольской” трилогии В. Яна, а дальневосточное — в романах Н. Задорнова от “Амурабатюшки” (1944) до его же “Симоды” (1975). На североамериканском направлении в годы “холодной войны” и сталинской “борьбы с космополитизмом” работает И. Кратт с его романами о русских колонистах в Северной Америке “Остров Баранова” (1945) и “Колония Росс” (1950).

Поскольку единственной смыслозадающей инстанцией и вместе с тем воплощением тотального контроля над поведением героев для отечественного варианта этой обобщенной литературной формулы выступает власть, то поведение фигур, представляющих все остальные социальные силы или хотя бы их зачатки, укладывается в достаточно жесткие рамки либо подчинения (исполнения), либо отклонения (от бунта до измены). Любые самостоятельные действия частного человека выступают для окружающих персонажей и для читателя как заранее подозрительные. Но таковы же они и для самого действующего лица: “усомнившийся”, “потерявший ориентиры”, “соблазненный”, “изменник”, а то и прямой “враг”, как предполагается, могут таиться в каждом²⁶. Романый персонаж, как и реальный человек тех лет, может, как предполагается, и сам не знать, что помогает врагу (“невольный пособник”). И чем сложнее, неоднозначнее, индивидуальнее герой, тем скорее падет на него подобное подозрение. Равно как и наоборот: только простота, бесхитрость, открытость могут быть для персонажа и окружающих его лиц удостоверением и гарантией чистоты помыслов, беспрекословной верности предписанному долгу.

Простота и прозрачность романых характеров, мотивов их действий воспринимается широким читателем как их “жизненность”, похожесть на “всех нас”, человеческая узнаваемость. В известном соответствии с постулатами социалистического реализма (напомню, что они начинают форсированно разрабатываться с 1932—1933 гг., после постановления партии об упразднении всех писательских организаций и в преддверии ведомственной централизации управления литературой и искусством²⁷, а узакониваются первым съездом писателей в 1934 г.), подобная конструкция художественной антропологии встречается и усваивается читателями как “сама жизнь”.

²⁶ См. об этом мотиве: Brooks J. Honor and dishonor // Idem. Thank you, comrade Stalin! Soviet public culture from revolution to cold war. Princeton. 2001. P. 127—158. В общесоциологическом плане проблема развернута в работе Л. Гудкова “Риторика врага” [в печати].

²⁷ В июле 1933 г. “Правда” помещает редакционную статью “Литература и строительство социализма”, через несколько дней выходит программная работа Горького “О социалистическом реализме”, начинается идейная и организационная подготовка писательского съезда, а в первые дни 1936 г. создается Всесоюзный комитет по делам искусств.

При этом одна, интеллигентски-прогрессивистская линия, линия умеренно либеральной критики в развитии советского исторического романа 1920—1980-х гг. (от Тынянова и Форш до Натана Эйдельмана и Юрия Трифонова, Булата Окуджавы, Юрия Давыдова и Марка Харитоновы) сосредоточивает внимание преимущественно на человеческой “цене” процессов форсированной модернизации. Безликой жестокости государства и изоляционистской официальной идеологии “нового человека”, принятой и развитой в романистике социалистического реализма, здесь — на разных этапах, в практике разных групп интеллигенции — противопоставляется “вечный” человек христианства (как у Булгакова), русский “стихийный” человек (как у Веселого), “частный” человек (как у Окуджавы), собственно “человек исторический” (как у Тынянова, Трифонова, Ю. Давыдова).

Зачастую роман данной линии, вслед за “классической” русской литературой XIX в., делает своим протагонистом — и антиподом власти — “маленького человека”, который помимо собственной воли попадает под колеса истории. Ценностная перспектива повествования в таких случаях, причем нередко выстраивающаяся от “первого лица” (а это форма для исторического жанра исключительная), задана образом жертвы, пусть даже “невольной”. Масштаб и характер оценок действующих лиц, ролевых конфликтов и сюжетных поворотов определен “стороной потерпевших”. Вариантом подобной парной формулы “царь и подданный” в романах данного подтипа выступает пара “художник и власть”: романы и повести Тынянова; “Повесть о Тарасе Шевченко” Лидии Чуковской (1930), “Жизнь господина де Мольера” Булгакова (1932—1933). Еще один важный смысловой момент, ценностный полюс в повествованиях данной линии — позитивная или, по крайней мере, конструктивно-нейтральная оценка “Запада” и соответствующие смысловые акценты в обрисовке представляющих его фигур. Только в рамках этого направления возможен исторический роман, полностью построенный на западном материале (например, “Осуждение Паганини” Виноградова).

Другая, столь же условно говоря — консервативная линия, начиная с Алексея Толстого, разрабатывает преимущественно патриотические мотивы державы (а позже, с 1970-х гг. — “почвы”), ее единства, военного могущества и триумфа, ставя в центр повествования царя-самодержца и его “верных слуг”. Пос-

ледние во имя интересов целого действуют с предельной жестокостью, без оглядки на какие бы то ни было социальные издержки и человеческие потери. В этом плане фигуры жертв составят обязательные атрибуты исторической прозы и этого типа, но будут по-другому ценностно аранжированы. Среди прочего, здесь изобилуют натуралистические сцены мучений и гибели подобных жертв, причем в их роли часто оказываются самые юные героини — молодая девушка или отрешенный от окружающего отрок, символизирующие незрелость, чистоту и хрупкость, едва ли не обреченность всего народа, родины, страны.

Позже, уже в 1970-х гг., после очередного размежевания теперь уже послеоттепельной интеллигенции на прозападническую и консервативно-патриотическую, легенда власти постепенно приобретает вид “возвращения к началам” и поиска исторических “корней”, особого человеческого склада, “русского характера”. С ориентацией на эти моменты (но, в том числе, и в полемике с такой тогдашней интернационалистской идеологемой официальной пропаганды, как “новая историческая общность людей — советский народ”²⁸) в исторические романы-эпопеи Дмитрия Балашова, Олега Михайлова, Валентина Пикуля на правах ключевого символа вводится “почва” и иные знаки того же “органического” ряда (“род”, “кровь”)²⁹. Наряду с имперской эпохой русской истории (прежде всего “петербургским” периодом государственно-централизованной модернизации), все большее внимание романистов этого направления привлекают начальные этапы собирания русского государства — “киевский” и “московский” периоды, равно как и заключительный этап российской монархии: “Август четырнадцатого” Солженицына (1971); “У последней черты” Пикуля (1979). Усиливается интерес к отечественным “истокам”, догосударственной, племенной “Руси изначальной” (по заглавию известного в ту пору романа Валентина Иванова (1961))³⁰.

²⁸ Всесоюзная конференция на тему “Новая историческая общность людей — советский народ и литература социалистического реализма” проходит в Москве в октябре 1972 г.

²⁹ См.: Анисимов Е. “Феномен Пикуля” — глазами историка // Знамя. 1987. № 11. С. 214—223.

³⁰ Здесь закладываются первые образцы той “славянской фэнтези”, которая расцветет через поколение уже в конце 1990-х гг.; см.: Каганская М. Миф двадцать первого века, или Россия во мгле // Страна и мир. 1986. № 11. С. 78—85.

У Пикуля к общей конструкции “романа о почве” и “русском характере” присоединяются элементы героико-авантюрного и даже мелодраматического повествования (“Пером и шпагой” (1972)). Сюжетные мотивы, связанные с Западом, читателям Пикуля предлагается воспринимать и интерпретировать через особый, “снижающий” ценностный барьер или, можно сказать, своеобразный фильтр: сквозь трафаретку плутовского романа с его “низкими” героями и соответствующими (эгоистическими, корыстными, власте- или сластолюбивыми, в любом случае — подозрительными и недостойными) мотивами действия. Напротив, в исторических романах либерально-критической линии (Ю. Трифонов, Ю. Давыдов, Б. Окуджава) все шире разрабатываются мотивы бесчеловечной бюрократической власти, социальной стагнации, “безвременья”, сужения исторических альтернатив, стоящих перед страной и ее “мыслящей” частью. На этом фоне в романах серии “Пламенные революционеры” (Ю. Трифонов, В. Аксенов, А. Гладилин), романизированных биографиях серии “Жизнь замечательных людей” (Н. Эйдельман) аллегорически акцентируется тематика террора — как со стороны самого государства, так и в практике его оппонентов (народовольцы, большевики).

Напомню, что фигуры этих радикальных антагонистов прежней государственной власти вошли в советский исторический роман на самом начальном, пореволюционном его этапе, где в духе тогдашней эпохи были идеологически героизированы. В 1930—1940-е гг. подобные образы вооруженных тираноборцев и царевубийц, по понятным причинам, практически исчезли из советской исторической беллетристики (к буквально считанным исключениям принадлежит, например, роман Валерия Язвицкого о народовольце Ипполите Мышкине “Непобежденный пленник” (1933). 1970-е гг. — период новой их переоценки, аллегоризации в духе советского подцензурного “двойного сознания” (эзоповского языка), сдержанной либеральной критики с общегуманистических позиций.

Еще раз, но теперь уже совсем в иной, державно-патриотической, почвенно-православной перспективе образы российских революционеров оказались негативно переоценены во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. Таков, в частности, роман о Сергее Нечаеве В. Сердюка “Без креста” (1997) и др. Эти

последние идеологические оценки (впрочем, отчасти они были артикулированы уже в опубликованных за рубежом исторических романах Солженицына о большевизме, а до него — в эмигрантской исторической прозе межвоенного периода, например, романе П. Краснова “Царевубийцы” (1938) в определенном смысле возвращают к “антинигилистическому” роману 60-х гг. XIX в. — актуальной на тот момент ангажированной прозе А. Писемского (“Взбаламученное море”), Н. Лескова (“Некуда”), В. Ключникова (“Марево”) и др. Детально проследить подобные сдвиги в исторических трактовках фигур этого типа, а точнее — в трактовках одного травматического мотива, вероятно, основополагающего для самосознания русской — советской российской эмигрантской — российской постсоветской интеллигенции (конфликт индивида и государственной власти, выбор адаптации или бунта, подчинения или насилия), — интересная и важная задача, которая, однако, выходит далеко за рамки данной статьи.

IV

В наиболее проявленной, но и до предела рутинизированной форме литературная историософия и художественная антропология русского, а затем — советского исторического романа получают развитие и очередную переакцентировку уже в историко-патриотической продукции конца 1980-х—1990-х гг.³¹ Как обычно, эпигоны в данном случае с особой, едва ли не карикатурной броскостью проявляют ход более общих процессов. Напомню, что основной поток советской литературы на всех ее этапах представлял собой литературу массовую, точнее — массово-мобилизационную. После освоения стереотипов переводной приключенческой прозы и “учебы” у отечественных классиков во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. собственно советская литература, ее официально разрешенный мейнстрим соединил стандартизированную поэтику жанровой словесности (производственный или военный, деревенский или шпионский роман и т.п.) с актуальным пропагандистским заданием, но в этом

³¹ См. также: Marsh R.J. History and literature in contemporary Russia. L., 1995; Мясников В. Историческая беллетристика: спрос и предложение // Новый мир. 2002. № 4.

смысле и с отдельными чертами классического русского “идеологического романа” XIX в. После распада СССР и (временного) отступления советской идеологии рухнула или, по крайней мере, подверглась диффамации, эрозии и вся жанровая система координат советской литературы. Однако реставрационный период в российской культуре середины и второй половины 1990-х гг. характерным образом начался для беллетристики именно с массово-исторического романа. Этот жанровый образец, что, собственно, и требовалось на тот момент, с одной стороны, был высоко идеологизирован (политизирован), с другой — остросюжетен, завлекателен для читателя³².

Стоит подчеркнуть, что даже в сравнении с 1970-ми, а еще более — с 1930-ми гг. прямые идеологические манифестации авторов и действующих лиц в современном массово-историческом романе заметно усилены и весьма однозначны. Порой они даже принимают утрированно-пародические черты, о чем пойдет речь дальше. А пока проследим, как теперь выглядит подобная романная идеология в ее ключевых точках³³. Единица существования здесь — “народ”, собственно героем выступает именно это предельное по своим масштабам коллективно-национальное целое; отдельные действующие лица — лишь его аллегорические персонализации либо, напротив, столь же аллегорические воплощения неприемлемых, угрожающих и потенциально разрушитель-

³² Данным соображением автор обязан устным замечаниям А. Береловича (2001). В те же годы наблюдается взлет формульной фантастики в жанре “славянской фэнтези”. Показательно, что похожие синтезаторские тенденции проявились в конце 1990-х гг. и в “авторской” прозе или арт-словесности — например, детективных романах-стилизациях Б. Акунина, Л. Юзефовича, с одной стороны, и романах об империи в духе постмодернистской “альтернативной истории” (С. Смирнов, С. Карпушенко), с другой. Обзор этих последних см. в статье: Володихин Д. Неоампир // Ex Libris “НГ”. 2001. 8 мая. С. 3.

³³ Поиски “истоков”, “корней” и “основ” в прошлом, конечно же, ведутся в этот период и в более широком социальном и политическом контексте, за пределами собственно беллетристики — в сфере практической политики, включая идеологические службы public relations (PR), близкую к ним лоббистскую публицистику и т.п. Такого рода предприятия уже стали предметом внимания специалистов; кроме уже упоминавшегося сборника “Национальные истории в советском и постсоветском государствах” см. также: Мифы и мифология в современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2000; Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 2002.

ных для него человеческих стремлений и качеств (враги, изменники, иноверцы — противники христианства, как приверженцы ислама у В. Сербы, католики Литвы и Польши у В. Балязина). При этом “путь” каждого народа заранее предопределен: “У всякого народа должна быть единая цель. У великого народа и цель должна быть великой” [Зима В. Исток. М., 1996, С. 257]. В исходной точке подобного предустановленного пути на территории будущей России существуют еще отдельные, разрозненные племена; в итоговом, кульминационном пункте Россия — это уже единая могучая империя: “Пришел конец эры биологического становления, и началась эпоха исторического развития. Русь сделала первый шаг на пути к Российской империи” [Там же. С. 472]. После этого имперского апогея начинается описанный по той же органической модели распад, ослабление творческого потенциала, наступает эпоха “единой идеологии” и т.д.

Целое народа воплощено в его вожде: “Всякий народ на историческом пути нуждается в поводе. У народа поводьями могут быть вожди и пророки” [Там же. С. 231]. Образы земли (родины, почвы), народа, властителя-самодержца и отдельного героя в символическом плане взаимозаменяемы. Их семантическое тождество — принципиальная характеристика неотрадиционалистской художественной антропологии историко-патриотического романа. Она обеспечивает возможности читательского отождествления со всем представленным в сюжете, со всей картиной романного мира, максимально облегчает читателю переход от одних, более конкретных, уровней символической идентификации к другим, более общим.

Для понимания того, как подобная литература воспринимается публикой, важно еще одно. Представленная таким образом история для читателей предопределена, другие ее варианты — т.е. другие взгляды на историю — невозможны. Никакого места для самостоятельных оценок и альтернативных интерпретаций внутри описанной романной конструкции нет. Субъективные формы повествования, сослагательная модальность, юмор, ирония, абсурд и прочие разновидности авторской рефлексии, читательского дистанцирования в данном типе прозы практически исключены. Мир такой романистики столь же однозначен, сколь авторитарно ее письмо. История здесь — в отличие от “Еще ничего не было решено” в романе Тынянова “Кюхля” — неоспори-

мо и безоговорочно произошла. Поэтому ее монолитное целое недоступно воздействию и осмыслению. Его можно лишь ретроспективно представить в виде этакой аллегорической панорамы, “исторического обозрения” и соответствующим же образом воспринять, усвоить. Характерно и представление авторов описываемой романной продукции о своем читателе, на которого подобная оптика “настроена”: это “подлинный патриот”, неспособный преодолеть языковой “барьер” [Зима В. Указ. соч. С. 6].

Взлеты и падения отдельного человека на таком предначертанном фоне определяются непознаваемыми для самого индивида и общими для всех, но открывающимися только в непосредственном воздействии на людей силами “судьбы”. Подобный элемент традиционалистского, “эпического” образа мира кладется историко-патриотическим романистом в основу конструкции причинности. Он определяет действия отдельных персонажей, где следствия и результаты от них в большинстве случаев не зависят, поскольку в принципе не поддаются предсказанию. “Жизнь — река... Кого на стрежень вынесет, кого на мель посадит” [Бахревский В. Стратотерпцы. М., 1997. С. 12]. Качество существования как такового, собственно “жизнь” — общее, надындивидуальное бытие всех людей (“всех” в смысле одинаковых, подобных друг другу) приравнивается в историко-патриотическом романе — как в эпигонских романах-эпопеях Анатолия Иванова, Петра Прокураина и других романистов подобного плана в 1970-х гг.³⁴ — именно к такой непредсказуемой стихии. Чаще всего данный план значений образно представлен вполне стереотипными метафорами “потока”, “стремнины” и т.п.

Несчастья людей и народов связаны с насильственными проявлениями власти, агрессивным стремлением к господству, честолюбием и индивидуализмом (“ячеством”). Как правило, эти беды для страны, народа и отдельного героя приходят извне, от “чужаков” — людей, чужих по языку, укладу жизни, вере. Вообще любое разнообразие, индивидуальное несходство, сложность общественного устройства, сам факт обособления людей и автономности человеческих групп предстает в описываемом типе

³⁴ См. об их поэтике: Гудков Л., Дубин В. Литература как социальный институт. М., 1994. С. 123—141; Шведов С. Книги, которые мы выбирали // Погружение в трясины. (Анатомия застоя). М., 1991. С. 389—408.

романа — как вообще в традиционалистском и неотрадиционалистском сознании — чем-то неоправданным, необъяснимым. Различия подозрительны, они заранее пугают и в конце концов оборачиваются катастрофой. Поэтому в сознании романских героев и в историософских отступлениях авторов социальное и культурное разнообразие существования обязательно упрощается, сводясь к привычному противостоянию “своего” и “чужого”: “Самая великая тайна — разделение людей на своих и чужих” [Зима В. Указ. соч. С. 149]. Однако еще больше, нежели чужаков, русским приходится опасаться “своих”. Подобными “своими”, которые оказываются едва ли не хуже чужих, движет при этом “зависть” — иначе говоря, то же сознание того же самого факта различий между людьми и группами людей, но теперь этот факт уже мифологизирован и заведомо негативно оценен: “Имя русскому сатане — зависть” [Бахревский В. Указ. соч. С. 235].

Тем самым в массово-патриотический роман вводится важный для понимания всей коллективной мифологии россиян (“русской судьбы”, “русского пути”) мотив раскола. Причем раскола не только на “внешнем”, социальном уровне (уже упоминавшаяся тематика “измены”, “перебежчика”, “предателя”, “невольного пособника”), но и на более “глубоком” уровне человеческого характера, самого антропологического склада. Отсюда опять-таки эпигонская по отношению к русской литературе от Достоевского до Сологуба, ходовая в отечественном популярном романе семантика двойственности, раздвоенности русского человека: “Дремлет в нас теплая любовь к живому рядом с кровопийством, тянет нас то в болотную гниль, то на солнечный луг и пашню...” [Усов В. Цари и скитальцы. М., 1998. С. 243]. Характерно, что к подобному предательскому, гибельному раздвоению приравнены индивидуализм и честолюбие: “...причиной всех его бед было то, что не о ближних своих он помышлял и заботился, не об их счастье и пользе, но прежде всего всегда думал лишь о собственной выгоде и себя — честолюбца и кондотьера — полагал важнейшей на свете персоной...” [Балязин В. Охотник за тронами. М., 1997. С. 417].

Идеалом, который противостоит этой опасной, смертоносной расколотости и распре, в коллективном сознании и в историко-патриотическом романе выступает, по контрасту, соединение таких качеств, как внутренняя цельность, равенство себе,

недоступность для внешних воздействий. Все они заведомо надындивидуальны и объединены, воплощены в русской “земле”, родине, единой державе, в особом складе русского человека (часть здесь, как уже говорилось, мифологически равна целому). Причем устойчивость и, в этом смысле, вечность, непрерывность совершенного существования, которое выше времени и которое не затронут никакие перемены, никакая “порча”, гарантирована в подобной романной историософии и антропологии только целому. Лишь это предельное и заведомо непостижимое, недоступное ни конкретизации, ни изображению целое может даровать устойчивость индивиду, приобщив его, отдельную частицу, к общности всех (всех “своих”) как носителю вечности: “Красота — в единстве, и гордость — в познании красоты своей, а не прибывшей из-за моря-океана. ...Превыше всего — русский человек, Русская земля. ...Беречь и хранить и защищать эту изукрашенную красотами землю — счастье, равного которому нет и не может быть” [Зорин Э. Огненное порубежье. М., 1994. С. 125].

В качестве своего рода встречного залога, который герои должны символически обменять на дар спасения со стороны “целого”, в популярном историческом романе фигурируют “терпение” и “служение” действующих лиц. Герой не только должен быть постоянно готов к самоотрицанию, самоустранению, жертвенной гибели наряду со всеми (“Для того, чтобы выстоять в непрерывных войнах с врагами, наше государство должно было требовать от соотечественников столько жертв, сколько их было необходимо... Именно так закладывались основы того, что потом назовут загадочной славянской душой!” [Зима В. Указ. соч. С. 406]. Он переживает свою общность с другими и причастность к целому именно в моменты подобного подчинения судьбе и согласия на любые потери — переживает ее характерным, пассивно-страдательным образом. Такова в данном контексте коллективистская, заведомо внеиндивидуалистическая, а потому и внеэтическая, семантика “совести” (“Кто мы? Пыль времен... Но пыль с совестью” [Бахревский В. Указ. соч. С. 537]). Поскольку терпение тут обозначает не черту индивидуального характера, а коллективную молчаливую верность традиционным заветам предков, то и подняться из своего “падения”, вернуться к жизни герой может только вместе со всем народом. “И терпели... за истину отцов... Бог даст — воскресем” [Там же. С. 536]. Это значит, что

долг героев романа, как и “каждого из нас” (читателей) — вернуть утраченную честь державы, ее славу и могущество (ср. характерную формулировку одного из анализируемых романистов о “жизни человека или целого народа — нелегкой... но с неперемной мечтой о будущем могуществе” [Усов В. Указ. соч. С. 11]).

Антитезой мощи и всеобщего признания народа, страны, государства — силы и славы, которые всегда переживаются как потерянные и еще не обретенные, которые находятся непременно в прошлом или в будущем, но никогда не в настоящем, — в описываемых романах является принудительное состояние “выживания”. В это постыдное состояние Россию век за веком ввергают “антинародные реформаторы”: “Не так ли сдерживала стон, сцепив зубы, Россия, когда вздернул ее на дыбу Петр Первый... не так ли сцепила зубы... под игом так называемых марксистов-ленинцев... не так ли сдерживает стон россиянин и теперь, понимая вполне, что... привели Россию к самой пропасти, и мысли Великого Народа Великой Державы нынче не о славе и могуществе, но о выживании...” [Ананьев Г. Князь Воротынский. М., 1998. С. 451].

Собственно говоря, пределы человеческого, антропологического масштаб, известное несходство человеческого “материала” заданы в историко-патриотическом романе двумя крайними точками (полюсами), или двумя планами рассмотрения. О “верхнем”, предельно общем (эквиваленте высокого, высшего — метафорическом обозначении власти), уже говорилось: это земля — народ — вождь как воплощение предначертанного и неизменного целого. “Нижний” же (эквивалент “народного” как фольклорного, образное обозначение “массы”) образован тем допустимым для историко-патриотического романиста минимальным разнообразием человеческих типажей, которое предопределено для них предписанными моделями поведения в закрытом — родоплеменном или статусно-сословном — обществе. В романе этот смысловой минимум и выступает эмпирической, изображаемой “реальностью”. На двух уровнях выстраивается и репертуар речевых характеристик героев: они соответствуют стилевой таблице о рангах и черпаются из жестко ограниченных разновидностей “низкого” и “высокого” стиля.

Героев характеризует узкий набор социальных признаков. В принципе, их всего два. Это, во-первых, место во властной иерархии или в системе традиционного авторитета (нередко оно попросту задано и однозначно, как в архаике, маркировано полом и возрастом — мужчина или женщина, несовершеннолетний, зрелый или старый) и, во-вторых, принадлежность к племени, народу, вере (“наш, крещеный” или “чужак, нехристь”). Соответственно базовые типы героев в историко-патриотическом романе выстраиваются по оси господства. Основными персонажами, несущей характерологической конструкции для всей идеологии данного романа выступают пока еще не определившийся в жизни отрок с чертами святости либо неопытная, не знавшая любви девушка; замужняя женщина (прежде всего как верная, понимающая и послушная жена); образцовый исполнитель — идеальный слуга, как бы двойник правителя, однако без самостоятельной власти и даже поползновений ею обладать — он подданный (человек “малый” и “простой”), но не придворный (не “хитрый интриган”).

Чаще всего такого исполнителя представляет воин, полководец. Он целиком подчинен высшим ценностям национальной целостности, мощи и славы, его долг — “по чести и совести служить государю и отечеству” [Ананьев Г. Указ. соч. С. 436]. В образ такого военачальника входит даже социально допустимый минимум рационального поведения, воинской хитрости, “обмана” (поскольку она обращена против врага и идет на пользу “нашим”). Но куда важнее любого предвидения и расчета для этой ключевой фигуры “верность славным ратным традициям отечества” [Там же. С. 452]. И это понятно. Данный герой в самой своей антропологической структуре воплощает, и притом максимальным, “идеальным” образом, функцию преданности целому, важнейшую для военизированного общества, — опорный элемент его мифологии, всей “легенды власти”. Конечно же, в подобной фигуре сублимирована запретная и подавленная агрессивность бесправного, подначального, “маленького” человека. Но это лишь антропологический срез символики, он важен, и все-таки не в нем одном здесь дело. Чрезвычайно существенно, что в образе полководца воплощены массовые представления о социальном порядке: такой порядок в доме, стране, мире понимается исключительно по военному образцу. Другими словами,

досовременная, жесткая военная организация (своего рода “дружина”) или близкие к ней по типу “архаические” устройства (одномерная иерархия во главе с вождем) предстают в массовом романе идеализированной моделью общества-государства, наиболее опознаваемой и признанной всеми мерой правильного устройства общей жизни. Какие бы то ни было отклонения от нее будут восприниматься массовым сознанием катастрофически — как синоним хаоса и гибели³⁵.

В историческом романе описываемого державно-патриотического типа характерны частые эпитеты “всякий”, “каждый”, “любой”, местоимение “все”, сочетание “все люди” и им подобные, они не раз встречались и в примерах, приведенных выше³⁶. Это словесный “тик” (клише) — не случайность и не неряшливость автора: они относятся к числу постоянных приемов историко-патриотического романиста. Дело не просто в том, что рассматриваемые здесь романисты машинально заимствуют или беззастенчиво крадут этот словесный ход у Л. Толстого (а вернее, у писателей советской эпохи, уже когда-то заимствовавших их у Толстого, — скажем, Фадеева или Л. Леонова, Шолохова или Симонова), — обсуждение литературного эпигонства в терминах заимствования бессмысленно и бесперспективно, поскольку в описываемых рамках, собственно говоря, нет автора как индивидуального лица, отвечающего репутацией за свое словесное поведение, свои “по поступки”. Речь о другом. С помощью подобного приема историко-патриотический романист вменяет “доисторическим” родоплеменным сущностям (племени, земле) обобщенные нормы поведения европейского человека вполне конкретной эпохи — периода Про-

³⁵ О подобных представлениях на материале современных массовых опросов общественного мнения в России см.: Дубин Б. Модельные институты и символический порядок: элементарные формы социальности в современном российском обществе // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 1. С. 14—19.

³⁶ Вот еще один, но характерный образчик подобной всеохватной инклюзии, молчаливо подтягивающей читателя до нормы (“всегда так и никак иначе”): “...В каждом человеке... живет неизбывная тоска по управлению своим государством” [Зима В. Указ. соч. С. 43]. У него же (хотя можно было бы взять и других здесь перечисленных; выделено мной. — *Б.Д.*): “Все религии порождены естественным страхом смерти” [с. 120]; “Любям необходимы герои. Все жаждут видеть перед собой образцы...” [с. 122]; “Всякий народ на историческом пути нуждается в поводыре [с. 231] и т.д.

свещения и самого начала современности (“модерности”). Таковы здравый смысл, разумная природа и прочие характеристики личности и мыслимого по ее образу народа, которые сами в этом смысловом наполнении порождены модерностью. Автор историко-патриотического романа как бы дотягивает, надставляет своих персонажей до идеальной нормы того, что он сам — человек, хочешь не хочешь живущий сегодня, считает “человеческим”. Причем эпигонски соединяет этот моралистический план повествования с сущностями, понятиями, фигурами воображения традиционалистских эпох и архаики.

При этом верхний предел обобщенной реалистичности изображенного в романе автору и его читателю часто задает, как в данном случае, знакомая им обоим по средней школе поэтика эпигонов высокой классики. Но это могут быть и инкрустации фольклорно-былинного, приподнятого стиля, используемые в их уже современной, “выразительной” функции. Обычно он применяется для описания черт народа или природы: “Велика земля Российская, а людом небогатая: едет ли смерд, либо гридин скачет, все больше починки встречает...” [Тумасов Б. Княжеству Московскому великим быть. М., 1998. С. 5] или “В мае-травне в бело-розовое кипение оделись сады ордынской столицы” [Там же. С. 454]³⁷.

Впрочем, гораздо чаще уровень общего в его высоком, героико-эпическом или сентиментально-лирическом модусе идеальной нормы поведения, чувств, мотивов действия и т.п. задается в романе интересующего нас типа куда менее почтенными образцами. Это может быть, например, игриво-чувствительная интонация почти анонимной женской прозы из советских женских журналов “Работница” и “Крестьянка” (даже если образ женщины приписан здесь мужскому взгляду): “Все, что ни совершает в жизни мужчина, он совершает ради одной-единственной женщины... И если у мужчины нет любимой женщины, все его победы и достижения меркнут. Даже богатство, даже власть... Ах, Ана-

³⁷ На данном материале можно говорить о нескольких функциональных разновидностях “русского стиля” — улично-просторечном (обычно мужском), домашне-чувствительном (женском или в разговоре с женой, вроде, например, такого: “Ишь, разгорланилась, — добродушно проговорил Житоблуд и, ласково осклабясь, обнял жену. — Умаялся я с дороги” [Зорин Э. Указ. соч. С. 141]), сказово-былинном, державно-озабоченном (властном) и проч.

стасия! Что же нам с тобой делать?” [Зима В. Указ. соч. С. 67] или “Зихно окинул ласковым взглядом ее стройную, чуть располневшую фигуру...” [Зорин Э. Указ. соч. С. 121]. До столь же знакомых нот, но теперь уже в тональности державной озабоченности, может поднять героя (и стилевой регистр повествования) язык газетной передовицы или лексика телевизионных новостей: “Работа над новым договором потребует намного больше времени...” [Серба А. Быть Руси под княгиней-христианкой. М., 1998. С. 9], “Игоря [имеется в виду князь Игорь] не устраивал ни один из этих вариантов...” [Там же. С. 16] или “Шел тревожный декабрь 6679 года” [Зорин Э. Указ. соч. С. 19]. Но в этой же функции общего и высокого могут выступить и штампы путеводителя или рекламы: “хотя назывался халиф багдадским, с 836 по 892 гг. [так в тексте романа!] двор халифа помещался не в Багдаде, а в Самарре... Этот город протянулся на 33 версты по берегу Тигра. Там были аллеи и каналы, мечети и дворцы из кирпича, площади и улицы. Все новое, с иголочки, дорогое и добротное...” [Зима В. Указ. соч. С. 130]. Знакомые по расхожей рекламе (“седые пирамиды, древние храмы Луксора”) клише высокого и отдаленного, экзотического и красивого — причем именно в их ощутимой шаблонности, “суконности” — выполняют здесь еще и аллегорическую функцию. Они как бы переводят прошлое на язык настоящего. А это обеспечивает читателю необходимый смысловой перенос, работу обобщающих механизмов идентификации.

Напротив, нижний предел “похожести”, “жизненности” людей прошлых эпох представлен языковыми эквивалентами того минимального социально-предписанного разнообразия, которое представлено в типажах романов и о котором шла речь выше. Неотрадиционализм присутствует в романе не просто как идеологическая максима (в языке автора), но как черта характера, свойство человека — в самой структуре персонажа. Функцию разнообразия могут выполнять, скажем, имена-клички персонажей (вроде какого-нибудь Житоблуда у Э. Зорина). Ее, например, несет просторечие — все эти “кажись”, “любо”, “едрен корень”, “допрежь”, “эвон”, “ужо погожу” и пр., либо локализмы, отысканные в словаре Даля, его же “Пословицах русского народа” и других подручных пособиях.

Но самое важное здесь — *дистанция* между этими языковыми регистрами повествования, между разными уровнями социальной характеристики персонажей, которые кодируются подобными стилевыми пометами. Разрывы между разными социальными планами характеристики (разность между статусно-ролевыми потенциалами героев) порождают и поддерживают повествовательное напряжение, предопределяют конфликты, управляющие движением сюжета, вводят в него внезапные, как бы “немотивированные” изменения (“переломы судьбы”). Силевые перепады, со своей стороны, задают известное разнообразие портретных характеристик. Все это в переплетении, контрасте, столкновении, контрапункте и составляет для автора и его читателя узнаваемость, жизнеподобие описанного, “реализм” романов данного историко-патриотического типа.

V

Надо сказать, что в настолько подробно артикулированном виде, с таким постоянством стереотипного повторения от автора к автору и из романа в роман весь данный идеолого-символический комплекс, пожалуй, не был представлен ни в историко-патриотической прозе сталинской эпохи, ни даже в державно-почвенных опусах 1970-х — начала 1980-х гг. И это совершенно не случайно. Нарастание, больше того, педалирование идеологической составляющей в подобной исторической романистике — производное от двух разных обстоятельств.

Первое, и более простое — переход литературного образца (вероятно, не только данного, но и любого иного) в руки эпигонов: взвинчивая идеологические оценки, эпигоны компенсируют клишированность своих способов понимания сложной стереоскопии “прошлого”, скудость средств истолкования “разбегающейся вселенной” ценностей и мотивов множества исторических лиц, с одной стороны, и такую же рутинность своего символического аппарата, периферийность (изношенность, избитость) имеющихся у них образно-символических ресурсов — с другой. Второе обстоятельство — более общего, социально-исторического свойства, оно характеризует функции и работу идеологических систем на разных этапах жизни общества. В ситуации подъема новых социальных слоев в советской России 1920—1930-х гг. офи-

циальная идеология, обращаясь к массам, выдвигала вперед, заостряла чисто мобилизационные аспекты инструментального достижения как бы совсем уже близких, всем понятных социальных целей. Отсюда прокламировавшаяся “сверху” и во многом принимаемая массами, особенно более молодыми, уверенность в возможности быстрых, волевых, “политических”, как тогда говорилось, решений любой проблемы. Отсюда же — преобладание в риторике на темы современности таких моментов, как “сроки”, “планы”, “техника” (в широком смысле слова имелись в виду любые относительно рациональные, стандартизированные умения, вырабатывающиеся на начальных этапах модернизации, индустриализации, цивилизации, неважно, касаясь они умения управлять машинами или языковых компетенций, грамотности и проч.). Соответственно и в риторике на темы прошлого акцентировались “децизионистские” образы и мотивы (“подвиг”), связанные с успешным политическим, социальным, экономическим переворотом и скорым, любой ценой, достижением целей общего благосостояния. Характерно, что главный, парадигматический герой исторической прозы (кино, искусства вообще) в ту эпоху — Петр I. Но специальный анализ показал бы, что трактовки ценностно-целевой и мотивационной сферы человеческого поведения, вообще принципы художественной антропологии в романе о царе Петре А.Н. Толстого, с одной стороны, и, скажем, в романе Н. Островского “Как закалялась сталь” или “Повести о настоящем человеке” Б. Полевого — с другой, обнаруживают разительное сходство.

Иная социокультурная ситуация складывалась в конце 1960-х — начале 1980-х гг. в период углубляющегося коллапса и разложения советской социально-политической системы, измелчания и распада обосновывавшей и подкреплявшей ее идеологической легенды. Официальная риторика “новой исторической общности людей — советского народа”, лишенная всякого активизма, пыталась теперь лишь пассивно обозначить фиктивные контуры общего, но уже не существующего целого (чистая функция символической интеграции без малейшего мобилизационного заряда). На ее фоне в этот период активизируются такие неофициальные идеолого-символические ресурсы, как гуманистические ценности (у более либерально-реформистски настроенной, но адаптированной в советскую систему интеллигенции), защита гражданских прав и поиски

нефальсифицированной истории (диссидентство, часть культурного андерграунда), почвеннические поиски “корней” и “источков”, державно-националистические идеи (идеологи журналов “Молодая гвардия”, впоследствии — “Наш современник” и “Москва”, — от различий в оттенках их взглядов сейчас отвлекаюсь).

Ни в официальной идеологии, ни в относительно альтернативных по отношению к ней коммунонационалистических и почвеннических поисках проблема новых, универсалистских ценностей существования, целей социокультурного развития, а значит и задача новой антропологии современности практически не вставала. Способами как-то удержать распадающийся общий смысловой космос служили, с одной стороны, символы традиционалистского, партикулярно-национального целого (тавтологические конструкции родины, почвы, истоков, начал, риторика национальной исключительности, особого “народного” характера, воображаемого “своего” пути), с другой — образы внешнего и внутреннего врага (от США до “инородцев” и “иноверцев”).

И те, и другие фактически несли одну, уже не миссионерскую, активно-мобилизационную, а пассивно-защитную функцию — все более фиктивного обозначения границ распадающегося социального и идеологического целого. Способом задать эти — исключительно внешние, огораживающие от воздействия извне — границы без собственного смыслового содержания, центра, ядра было, во-первых, перенесение координат подобного целого на все большую хронологическую глубину, еще большая изоляция, но уже не в символическом пространстве, а в воображаемом времени (к “началам”, “истокам”), а во-вторых, все большая мифологизация исходного, навязчиво повторяющегося конфликта самоидентификации — неспособности к самостоятельному существованию под собственную ответственность за свои поступки и их последствия — без средств хоть как-то универсализировать компоненты и координаты самоопределения, откуда и демонизация образа, опять-таки, внешнего фиктивного врага, “мешающего” реализовать искомые единство, целостность, устойчивость коллективного целого.

Важно отметить функциональный характер — направленность и пределы — этого мифологизирования. Оно выступало редукцией к символическим реликтам закрытого общества, построенного на партикуляристских идеях исключительности на-

ционального сообщества и лежащего в основе подобного сообщества базового характера национального человека. Не случайно сквозным элементом, несущей конструкцией в данном образе мира и человека стал защитный барьер, надежная граница от внешнего мира, своего рода иммунитет к чужому (“другому”)³⁸. Любопытно сравнить этот стандартизированный идеологический ход, например, с индивидуальными писательскими поисками Томаса Манна 1930-х гг., когда он в ситуации нарастающей социальной катастрофы тоже обратился к мифологическому материалу — сюжетам Ветхого Завета (речь идет о работе над романом “Иосиф и его братья”). Главным вопросом для Манна стал здесь “вопрос о человеке”, причем человеке именно “нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни”, но возведенный на уровень библейского вопроса “Что есть человек?”³⁹ При этом Манн полностью осознавал противоположность своего подхода к использованию мифа в официальной нацистской пропаганде (“Миф XX века” Альфреда Розенберга) и подытоживал свой метод препарирования и обработки мифологического материала, который относился к отдаленнейшему, но жизненно важному, своему и неизменно актуальному для Европы прошлому: “В этой книге миф выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно *гуманизация* мифа”⁴⁰. Важнейшим способом подобной гуманизации для Манна стал юмор. Причем в юмористической, иначе говоря, условной модальности в сюжетное “правдоподобное” повествование вводилась именно фигура автора, его языковые манифестации субъективной и дистанцированной точки зрения — “элементы анализирующей эссеистики, комментирования, литературной критики, научности речь косвенная, стилизованная и шутливая, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая”⁴¹.

³⁸ См. об этом: Дубин Б. Запад, граница, особый путь: символика “другого” в политической мифологии современной России // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 6. С. 25—35.

³⁹ Манн Т. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1960. С. 176 (доклад 1942 г. о романе “Иосиф и его братья”).

⁴⁰ Там же. С. 178.

⁴¹ Там же. С. 174.

Мифологизация прошлого в советском историко-патриотическом романе преследует в корне иные задачи, а потому и воплощается в совершенно иных, коллективистских, деиндивидуализированных формах идеологических оценок, типах жанрово-сюжетного построения и — тоже “вплоть до мельчайшей клеточки языка” — в торжественной и серьезной, “высокой” поэтике языковой банальности, избранные примеры которой демонстрировались выше⁴². Максимальную проявленность, о чем уже упоминалось, весь этот идеолого-символический комплекс получил к середине и во второй половине 1990-х гг., когда неудача предпринятой на рубеже 1980—1990-х гг. попытки волевого и разового реформирования страны “сверху” начала осознаваться всеми слоями российского населения. Отмечу, что у функционирования историко-патриотического романа, в центре которого — описанный выше комплекс мотивов и символов, в 1990-х гг. обнаружилось две кардинальные особенности, которых не было, насколько могу судить, никогда раньше. Впервые в пореволюционные годы книги данного жанра предъявляются теперь читателю как чисто коммерческий продукт, а не как элемент государственной пропагандистской машины. Они создаются, распространяются, покупаются и потребляются вне прямого идеологического заказа или диктата со стороны государства, вне его монопольного финансового, экономического, социального обеспечения (иными словами, прежняя властная “легенда” теперь уже усвоена массовым человеком, вошла в его социально-антропологический состав, привычный круг оценок, переплетение мотивов действия). Кроме того, на этот раз — в отличие от взлета исторической романистики и читательского интереса к ней в 1930-е, а особенно в 1970-е гг., такое доминантное положение историко-патриотических романов консервативного образца на книжном рынке и в круге массового чтения жителей России никем не оспаривается. У данной версии национального прошлого впервые в рос-

⁴² См. об этом: Дубин Б. О банальности прошлого // Дубин Б. Слово — письмо — литература. С. 256—258. Сербский романист Данило Киш называл подобное явление “фольк-китчем” (Kis D. *The Gingerbread Heart, or Nationalism* // Kis D. *Homo Poeticus. Essays and Interviews*. N.Y., 1995. P. 17).

сийской культурной истории XIX—XX вв. фактически нет сегодня ни идейного, ни художественного конкурента: “борьба за историю”, о которой говорилось раньше, как будто стихла⁴³.

Подобное стирание различий между разными группами, их идеями и оценками можно наблюдать в последнее время и в других сферах общественной жизни, в публичной политике⁴⁴. Наконец, характерно, что подавляющее большинство авторов этих романов (опять-таки, в отличие от литературной ситуации 1920—1930-х и 1970-х гг.) — вчерашние газетчики, рядовые члены Союза журналистов или Союза писателей. В любом случае — это люди без собственных имен, без литературных биографий и писательских репутаций. Перед нами, как и полагается массовому изданию, рассчитанному на всеобщее потребление, — серийная и анонимная словесная продукция эпигонов.

Важно, что в подобном переходе основной массы населения за 1990-е гг. к позитивной оценке компонентов “прошлого” и “простоты” лидировала группа россиян (а в основном — росси-

⁴³ Уже на рубеже 1990—2000-х гг. в отечественной прозе, определяющей себя как постмодернистская, стали появляться сочинения в жанре “сослагательной”, “альтернативной” истории (П. Крусанов и др.). Круг их читателей ограничивается студенческой молодежью крупнейших городов и, кажется, совершенно не пересекается, во-первых, с читательской аудиторией исторических романов в духе либерально-интеллигентской традиции — условно говоря, публикой “толстых журналов”, и, во-вторых, с группами потребителей историко-патриотической словесности, покупателей “романов на лотках” — сочинений, которые соответственно не рекламируются и не рецензируются ни в толстых журналах, ни в “глянцевой” журналистике, ни на сетевых литературных сайтах. Эта ветвь, равно как и новейший вариант “славянской фэнтези”, более популярной, опять-таки, среди городской молодежи и не без влияния идей Л. Гумилева использующей мотивы догосударственного, родоплеменного прошлого Руси вкупе с масскультурной символикой голливудских блокбастеров типа “Конан-варвар” и пр., в настоящей работе не рассматриваются. Однако в терминах уже не идеологии, а рынка можно оценить эту литературную и издательскую перероентацию на городскую учащуюся молодежь как поиск наиболее инициативными деятелями и менеджерами культуры новых, перспективных покупательских контингентов в условиях, когда привычная публика исторического романа, как и “серьезной” литературы вообще — интеллигенция — утрачивает социальную и культурную роль, экономический статус и общественный престиж. На материале производства и потребления отечественных кинофильмов этот процесс проявляется еще отчетливей.

⁴⁴ См. об этом цикл работ Л. Гудкова и Б. Дубина: Российские выборы: время “серых” // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 2. С. 17—29; Конец 90-х годов: Загугание образов // То же. 2001. № 1. С. 15—30; Общество телезрителей // То же. № 2. С. 31—45.

янок) зрелого возраста, с высшим образованием, жителей Москвы и Петербурга, избирателей по преимуществу центристских партий и движений социалистической ориентации; это как раз тот контингент читателей, который в первую очередь интересуется историческими романами и книгами по отечественной истории. Среди черт жизненного уклада, которые Россия, по их оценкам, “потеряла” за 1990-е гг., как раз эта группа во второй половине 1990-х гг. с особенной частотой выделяла символы великой державы и мирового приоритета — “гордость за свою большую и сильную страну”, “ведущую роль в мире”. К концу 1990-х гг. идеологический пассаизм этой служилой интеллигенции и бытовой пассаизм основной массы населения — при поддержке, подчеркнутости, большинства массмедиа, и прежде всего телевидения наиболее доступных и популярных каналов — сомкнулись. В базовом складе личности, в основном социальном типе современных россиян как опоры всей системы сегодняшнего российского общества и государства обнажились, отчетливо выступили на первый план неотрадиционалистские черты, характеристики национальной исключительности.

По-эпигонски стандартизированная державно-патриотическая версия отечественной и воспринимаемой через нее мировой истории, кратко представленная выше, выступает нормативной рамкой массового восприятия настоящего и прошлого, барьером или фильтром, отсекающим все иные значения и оценки, которые могли бы с описанной версией конкурировать, подрывать или разрушать ее целостность и нормативный строй, давать основание для рефлексии, анализа и критики. Эти альтернативные значения, позиции, точки зрения все чаще замалчиваются, вытесняются из публичного обихода сегодняшней России. В качестве общепринятой истории — в большинстве сообщений массмедиа, наиболее массовой беллетристике, растущем массиве школьных учебников и справочных пособий — вменяется и принимается лишь данная типовая конструкция. Запрос на нее со стороны и массы населения, и государственной власти обозначился во второй половине 1990-х гг., а к концу десятилетия и началу нового тысячелетия перешел в прямую символическую практику руководства страной, в работу огосударствленных,

по большей части, массмедиа центрального и местного уровней, в систему школьного, а во многом и институтского преподавания⁴⁵.

Контрастным социальным фоном для производства, массового тиражирования, читательского восприятия и оценки сегодняшней историко-патриотической романной продукции стали процессы, происходившие в российском обществе в 1990-е гг. Если конец 1980-х гг. был для населения России годами наибольшего символического уничтожения себя как советских людей (“совков”, по жаргонному обозначению тех лет), а начало 1990-х гг. непосредственно после распада СССР — временем наибольшей неопределенности и острой фрустрированности в плане социальной и национальной идентификации, то уже к 1994—1995 гг. заметно выросли показатели позитивного самоутверждения россиян, принадлежности респондентов к национальному целому России — ее “земле, территории”, но особенно к ее “прошлому, истории”. К середине 1990-х гг. россияне стали выделять в обобщенном образе русских, наряду с еще отчетливыми негативными самохарактеристиками (униженность, привычка к опеке “сверху”, непрактичность, лень), такие положительные черты “народного характера”, как энергичность, трудолюбие, гостеприимство, религиозность, готовность помочь другим. Основой обновленной символической идентификации россиян стали прежде всего символы коллективной принадлежности к самому широкому целому — причастности к национальному сообществу. Причем главное место среди них заняли именно те смысловые компоненты, которые, во-первых, отсылали к воображаемому общему прошлому коллективных испытаний и побед, а во-вторых, подчеркивали характерные для традиционного общества, можно сказать, “архаические” качества социальной пассивности (“терпение”, готовность к жертвам), культурной неискушенности и нетребовательности (“простота”)⁴⁶.

⁴⁵ См. об этом: Берелович В. Современные российские учебники истории: многоликая истина или очередная национальная идея // Неприкосновенный запас. 2002. № 4 (24); Кобрин К. Культурная революция в провинции // Отечественные записки. 2002. № 8. С. 359—371; Зверева Г.И. Присвоение прошлого в постсоветской историософии России [в печати].

⁴⁶ Подробнее см. об этом в работах Л. Гудкова: Победа в войне // Мониторинг общественного мнения. 1997. № 5. С. 12—19; Комплекс “жертвы” // То же. 1999. № 3. С. 47—60.

Контражуром для всех этих сдвигов выступил на протяжении 1990-х гг. массовый кризис доверия к каким бы то ни было социальным и государственным институтам России за исключением армии и православной церкви (иными словами, кризис доверия именно к новым институтам, обозначавшим себя как современные, демократические, общие для всего мира). В массе российского населения крепла уверенность, что в стране “всем заправляет мафия”, что “все кругом коррумпированы”, что государство не функционирует, а вокруг царят безвластие, грабеж и разлад. По контрасту с устойчивыми советскими стереотипами, с одной стороны, и ожиданиями первых лет перестройки, с другой, у россиян среднего и старшего возраста росла неуверенность в будущем, укреплялись ожидания “твердой руки”, ретроспективно повышалась привлекательность авторитарных лидеров, способных будто бы “навести порядок” (Сталин, Андропов)⁴⁷. Эти настроения подхватывали и поддерживали не только малотиражные коммунистические или почвеннические газеты. Их муссировала популистская по своим ориентациям и риторике скандальная пресса, тиражировала сенсационная криминальная телехроника, пытались использовать различные группировки лиц, приближенных к власти.

При этом всю вторую половину 1990-х гг. — после первой Чеченской войны, событий в Югославии, а затем развязывания второй, безрезультатной и не прекращающейся войны в Чечне — шел процесс политической, а отчасти и экономической изоляции России в мире, в мировом общественном мнении. Однако внутри страны он привел к парадоксальному результату. Власть, население и большинство средств массовой коммуникации не сговариваясь, но вполне единогласно сконцентрировались на значении, символах и символическом престиже национального целого и его особого исторического пути, судьбы и предназначения.

Данная фантомная целостность, как и ее воображаемый престиж (достаточно вспомнить принятые при новом президенте на рубеже XX—XXI вв. герб, флаг и гимн России, а затем возвращение пятиконечной звезды на воинское знамя) спрое-

⁴⁷ См. об этом в работе: Дубин Б. Сталин и другие: фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 1; № 2 [в печати].

цированы сегодня преимущественно в прошлое. Так, “лучшим” временем в массовом сознании россиян стала эпоха Брежнева, а излюбленным предметом интеллигентской идеализации в литературе и кино (Э. Радзинский, Н. Михалков, Г. Панфилов) — последние цари из династии Романовых. На этой реставрационной волне и оказался возможным тот взлет историко-патриотической романистики — нередко с элементами костюмированной мелодрамы, авантюрно-криминального романа о мафии, злободневного боевика о “мировом заговоре”, международном шпионаже и терроризме, — который описывался в настоящей работе.

Дубин Б.В.

Д 79 Семантика, риторика и социальные функции “прошлого”: к социологии советского и постсоветского исторического романа : Препринт WP6/2003/02. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 44 с.

Исторический роман рассматривается как образно-символическая форма условного представления, воображаемого писательского и читательского разыгрывания проблем, вызванных в европейских обществах и в России XIX—XX вв. крупномасштабными процессами социальной и культурной модернизации, включая контрмодернизационные импульсы и движения. Взаимосоотнесенные, конкурирующие ценности, идеи, интересы различных групп, включенных в эти процессы на разных стадиях, с разными ресурсами и устремлениями, определили и разные варианты жанровой формулы от вальтерскоттовского романа-реставрации до гуманизированного библейского мифа и пародируемой средневековой хроники у Т. Манна и др. В этих рамках анализируются основные жанрово-тематические линии советского исторического романа (интеллигентско-демократическая, государственно-патриотическая, почвеннически-фундаменталистская), реконструируется мифологизация прошлого в российских историко-патриотических романах и романизированных биографиях 1990-х гг., предназначенных для самого широкого читателя и циркулирующих в качестве коммерческого продукта массовой культуры. Реликтовые элементы почвенно-государственнической историософии в этих последних, синтетические средства их жанровой риторики и экспрессивной техники исследуются как феномен культурного эпигонства и неотрадиционалистской, контрмодернизационной идеологии.

УДК 82-31:316.7
ББК 84-44

Препринт WP6/2003/02
Серия WP6
“Гуманитарные исследования”

Дубин Борис Владимирович

**Семантика, риторика и социальные
функции “прошлого”: к социологии советского
и постсоветского исторического романа**

Публикуется в авторской редакции
Ответственный за выпуск *Е.А. Рязанцева*
Оформление серии *А.М. Павлов*
Корректор *Е.Е. Андреева*
Компьютерная верстка *О.А. Корытько*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.
Подписано в печать 11.03.2003 г. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать трафаретная. Гарнитура Таймс. Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 2,7.
Усл. печ. л. 2,56. Заказ № 29. Изд. № 289

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3